

Dohnal, Josef; Krylov, Ivan Andrejevič

Иван Андреевич Крылов (1769-1844)

In: Dohnal, Josef. *Русская литература XVIII века. Избранные тексты II., Хрестоматия.*
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 93-110

ISBN 978-80-210-7065-3; ISBN 978-80-210-7068-4 (online : Mobipocket)

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/130397>

Access Date: 31. 03. 2025

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Иван Андреевич Крылов

(1769–1844)

И. А. Крылов – наиболее известный русский баснописец, хотя басни не являются единственным жанром, которому он уделял свое внимание. Кроме того, крыловские басни печатаются только в XIX веке. Все-таки – какими основными характеристиками обладает басня?

Приводимые тексты дают возможность познакомиться и с менее известными произведениями Крылова. Какие сходства можно найти между этими произведениями и произведениями Д. И. Фонвизина?

И. А. Крылов является и издателем журналов – которых именно? Найдите их названия и узнайте, каково их направление!

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ, ГОВОРЕННАЯ ЕГО ДРУГОМ В ПРИСУТСТВИИ ЕГО ПРИЯТЕЛЕЙ ЗА ЧАШЕЙ ПУНША

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ — разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день, с неустрашимостью гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадью прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах: оба были равно полезные обществу, оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью. Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо

хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству.

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставял его примером в одной охоте, — нет, это было одно из последних его дарований, кроме сего имел он тысячу других приличных и необхонашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов вырабатывают в год, он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою, он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью. Глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! сядясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях, искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя: сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом. Начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и естли уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Естли это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдинов, и что никакими выгодами не отличают нашего брата дворянина: его знак ее

лености и нерачения. Так, государи мои! и естли бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда, как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию; когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свой способности; когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении; тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужели же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке, мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству, вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство: а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы; ибо более трех сот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства. Наконец, появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения; и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. В этом ребенке будет путь, сказал некогда восхищаясь его отец: он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать; можно отгадать, что он благородной крови. И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с такого благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ; хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унижить до того, чтоб его едиnorodный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель

нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши. Но Задорка, так звали маленькую собачку, доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения; это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем не кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем. «Друг мой! — сказал беспримерный его родитель, — разве мало вокруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, естли не хочешь быть укушен Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть не разевая рта как разумную тварь». Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод: изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян, по крайней мере, искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

...

Чадолубивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи устрашали его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнюю страницу букваря кончил его курс словесных наук. «Этой грамоты для тебя полно, — говорил он ему, — стыдись знать более, ты у меня будешь барин знатной, так не пристойно тебе читать книги».

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву.

...

http://az.lib.ru/k/krylow_i_a/text_0160.shtml

КАИБ

Восточная повесть

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. „Слава твоя, – говорил ему некто из его стихотворцев, – слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило“. Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячею яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мрамора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей италийской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.

Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто гуда ни входил: простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там развевали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей Беседующею Гражданина, переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пускал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.

В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные

дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои, отчего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.

Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть. Старик видел себя в них молодым красавцем, изветшалая кокетка – пятнадцатилетнею девушкою, урод – пригожим, а разгильдяй – ловким. Со всем тем Каиб никогда в их не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письма. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до изобилия, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старше семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами, они не падали в обморок от

пауков и тараканов, для того чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вина его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помой.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однакож, и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благодеяний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описание своего счастья и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал, для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали; в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи – ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италийских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по стольку же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было не известно. Он чувствовал, что ему чего-то

недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуметь, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастья.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел – и вдруг армия, многочисленнее древней, Ксерксовой, и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, – открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбить их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи; сочинители эпитафий сделались неприступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение; третью новость о победе слушал он равнодушнее; наконец зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних, хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взятокбратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом:

стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не подняться содому, не скликать весь свет, ежели можно и наконец чтобы потом не упасть раза два, три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостью бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености и Тысячу одну ночь всю знал наизусть; он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада – сей неподражаемый историк его предков – свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. Какой вздор! – скажет любезный мой читатель, но прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

„Каиб, – сказала ему превращенная женщина, – ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света“.

„Великодушная фея! – вскричал удивленный Каиб, – не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ль мне желать их более? Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах; природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, – столько-то одарен я способностью нравиться! Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом; и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы; но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее

Пекина и великолепнее древнего Рима; итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка; со всем тем я зеваю, и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает, но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут“.

„Каиб, – сказала ему волшебница, – желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить; как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством; прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы; едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь!“; – повторила волшебница и вмиг исчезла.

Каиб, отворотись к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже – подивись, прекрасный и любопытный пол! – он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: „Ступай немедля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит; тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты“. – „Вот довольно огромная для перстня надпись, – скажет критик... Может ли она уместиться на перстне; это невероятность!“ – очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет. „Но где же взять такую руку, которой бы впору был этот перстень?“ – спросят меня опять. О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

„Милостивейший государь! – сказал Каибу шут, увидя сию надпись, – перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей“. – „Почему ты это думаешь?“ – спрашивал его Каиб. – „Повелитель правоверных! – продолжал шут, – тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унижить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность – смешить ваше величество – ничего не значила!“ – „Не опасайся, – отвечал калиф, – изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы“. – „Еще слово, государь, – кричал шут, целуя

его полу; – время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор“. – „Пустое, пустое! – вскричал Каиб, – разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела: выучись к тому времени ползать черепахою“. Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.

...

http://az.lib.ru/k/krylow_i_a/text_0120.shtml

РЕЧЬ, В КОТОРОЙ ЖАЛУЕТСЯ САПОЖНИК НА ЖЕНУ СВОЮ, написанная для примера риторических фигур

Когда я говорю да, она отвечает нет; вечер и утро, ночь и день — всё бранится (*Antithèse, противоположность*). Никогда, никогда нет с нею покоя (*Repetition, повторение*). Это фурия, дьявол (*Hyperbole, увеличение*). Но, несчастная, скажи (*Apostrophe, обращение*), что я тебе сделал (*Interrogation, вопрошение*)? О боже! как безумно поступил я, что на тебе женился (*Exclamation, восклицание*)! Зачем я не утопился прежде (*Optation, желание*)? Я не упрекаю тебя ни в том, чего ты мне стоишь, ни в заботах моих доставать нужное (*Prétention, прехождение*); а прошу тебя, заклинаю: оставь меня в покое и не мешай работать (*Obsécration, умоление*), или клянусь... страшись довести меня до крайности (*Imprécation et Réticence, заклинание и умолчание*). Она плачет; ах, смиренница! Вы увидите, что я же виноват во всем (*Ironie, ирония*). Хорошо! пусть так; я, конечно, скор, несколько вспылчив (*Concession, уступление*). Сто раз желал, чтобы ты была дурна; проклинал, ненавидел эти ехидные глаза, этот обманчивый вид, который меня с ума свел (*Asthéisme ou louange en reproche, похвала с упреком*). Скажи мне, не лучше ли бы ладить со мною добрым, ласковым обхождением (*Communication, сообщение*)? Наши дети, приятели, соседы, — все видят, что мы живем недружно (*Enumération, исчисление*). Они слышат вой твой, жалобы и ругательства, которыми ты меня потчуеть (*Accumulation, собрание*). Они видели, что ты, выпуча глаза, покраснев, как огонь, с растрепанными волосами, гонялась за мною с угрозами (*Description, описание*). Все говорят о том с ужасом; придет соседка — рассказывают ей, прохожий слушает, пересказывает другим (*Hyperbole, изображение*). Подумают, что я грубиян, злодей, что во всем ты нуждаешься, что тебя бью, бью насмерть (*Gradation, восхождение*). Нет, все знают, что я тебя люблю, что сердце у меня доброе, что желаю видеть тебя спокойною и довольною (*Correction, поправление*). Небось, свет не обманешь неправда при неправом остается (*Sentence, изречение поучительное*). Увы! твоя бедная мать столько раз обещала мне, что будешь похожа на нее! Что скажет она? что теперь говорит? ведь она видит все, что делается. Так, я надеюсь, что она слышит; сам слышу, что упрекает она тебя за мои несчастья. Ах, мой бедный зять, говорит она, ты достоин лучшей участи (*Prosopopée, олицетворение*).

Фигуры суть орудия, которые натура дает в руки людям для нападения и защищения себя; человек, коим обладает страсть, употребляет оные слепо и по внутреннему вдохновению; рассказчик делает из них ремесло; красноречивый имеет ту выгоду, что действует ими сильно, проворно, благоразумно и кстати.

http://krilov.ru/g69_p1/

ПОСЛАНИЕ О ПОЛЬЗЕ СТРАСТЕЙ

Почто, мой друг, кричишь ты так на страсти
И ставишь их виной всех наших зол?
Поверь, что нам не сделают напасти
Любовь, вино, гульба и вкусный стол.
Пусть мудрецы, нахмуря смуры брови,
Журят весь мир, кладут посты на всех,
Бранят вино, улыбку ставят в грех
И бунт хотят поднять против любви.
Они страстей не знают всей цены;
Они вещам дать силы не умеют;
Хотя твердят, что вещи все равны,
Но воду пьют, а пива пить не смеют.
По их словам, полезен ум один:
Против него все вещи в мире низки;
Он должен быть наш полный властелин;
Ему лишь в честь венцы и обелиски.
Он кажет нам премудрые пути:
Спать на жестке, не морщась пить из лужи,
Не преть в жары, не мерзнуть век от стужи,
И словом: быть бесплотным во плоти,
Чтоб, навсегда расставшись с заблуждением,
Презря сей мир, питаться – рассуждением.

Но что в уме на свете без страстей? -
Природа здесь для нас, ее гостей,
В садах своих стол пышный, вкусный ставит,

Для нас в земле серебро и золото плавит,
 А мудрость нам, нахмуря бровь, поет,
 Что здесь во всем для наших душ отравя,
 Что наши все лишь в том здесь только права,
 Чтоб нам на всё смотреть разинув рот.
 На что ж так мир богат и разнообразен?
 И для того ль везде природа льет
 Обилие, чтоб только делать вред? -
 Величеству ее сей суд обиден.
 Поверь, мой друг, весь этот мудрый шум
 Между людей с досады сделал ум.
 И если б мы ему дались на волю,
 Терпели бы с зверями равну долю;
 Не смели бы возвесть на небо взор,
 Питались бы кореньями сырыми,
 Ходили бы нагими и босыми
 И жили бы внутри глубоких нор.

Какие мы ни видим перемены
 В художествах, в науках, в ремеслах,
 Все му виной корысть, любовь иль страх,
 А не запачканны, бесстрастны Диогены.

На что б вино и ткани дальних стран?
 На что бы нам огромные палаты,
 Коль были бы, мой друг, мы все Сократы?

На что бы плыть за грозный океан,
 Торговлею соединять народы?
 А если бы не плыть нам через воды,
 С Уранией на что б знакомство нам?
 К чему бы нам служили все науки?
 Ужли на то, чтоб жить, поджавши руки,
 Как встарь живал наш праотец Адам?

Под деревом в шалашике убогом
 С праматерью не пекся он о многом.

Виньол ему не строивал палат,
Он под ноги не стлал ковров персидских,
Ни жемчугов не нашивал бурмитских,
Не иссекал он яшму иль агат
На пышные кубки для вин превкусных;
Не знал он резьб, альфресков, позолот
И по стенам не выставлял работ
Рафаэлов и Рубенсов искусных.
Восточных он не нашивал парчей;
Когда к нему ночь темна приходила,
Свечами он не заменял светила,
Не превращал в дни ясные ночей.
Обедывал он просто, без приборов,
И не едал с фаянсов иль фарфоров.
Когда из туч осенний дождь ливал,
Под кожами зуб об зуб он стучал
И, щурясь на пасмурность природы,
Пережидал конца дурной погоды,
Иль в ближний лес за легким тростником
Ходил нагой и верно босиком;
Потом, расклав хворостинку беремья,
Он сиживал с женой у огонька
И проводил свое на свете время
В шалашике не лучше калмыка.
Все для него равно на свете было,
Ничто его на свете не манило;
Так что ж его на свете веселило?

А все-таки золотят этот век,
Когда труды природы даром брали,
Когда ее вещам цены не знали,
Когда, как скот, так пасся человек.
Поверь же мне, поверь, мой друг любезный,
Что наш золотой, а тот был век железный,
И что тогда лишь люди стали жить,
Когда стал ум страстям людей служить.

Тогда пути небесны нам открылись,
 Художества, науки водворились;
 Тогда корысть пустилась за моря
 И в ней весь мир избрал себе царя.
 Тщеславие родило Александров,
 Гальенов страх, насмешливость Менандров;
 Среди морей явились корабли;
 Среди полей – богатыри-полканы;
 Там башни вдруг, как будто великаны,
 Встряхнулись и встали из земли,
 Чтоб вдаль блистать верхами золотыми.
 Рассталися с зверями люди злыми,
 И нужды, в них роями разродясь,
 Со прихотью умножили их связь;
 Солдату стал во брани нужен кесарь,
 Больному врач, скупому добрый слесарь.
 Страсть к роскоши связала крепче мир.
 С востока к нам – шелк, яхонты, рубины,
 С полудня шлют сыры, закуски, вины,
 Сибирь дает меха, агат, порфир,
 Китай – чай, Левант нам кофе ставит;
 Там сахару гора, чрез океан
 В Европу мчатся, валы седые давит.

Искусников со всех мы кличем стран.
 Упомнишь ли их всех, моя ты муза?
 Хотим ли есть? – дай повара-француза,
 Британца дай нам школить лошадей;
 Женился ли, и бог дает детей -
 Им в нянюшки мы ищем англичанку;
 Для оперы поставь нам итальянку;
 Джонсон – обуи, Дюфо – всчеси нам лоб,
 Умрем, и тут – дай немца сделать гроб.

Различных стран изделия везутся,
 Меняются, дарятся, продаются;
 Край света плыть за ними нужды нет!

Я вкруг себя зрю вкратце целый свет.
Тут легка шаль персидска взор пленяет
И белу грудь от ветра охраняет;
Там английской кареты щегольской
Чуть слышен стук, летя по мостовой.
Все движется, и все живет меной,
В которой нам указчик первый страсти.
Где ни взгляну, торговлю вижу я;
Дальнейшие знакомятся края;
Знакомщик их – причуды, роскошь, сласти.
Ты скажешь мне: «Но редкие умы?»
Постой! Возьмем людей великих мы;
Что было их душою? Алчность славы
И страсть, чтоб их делам весь ахал мир
Там с музами божественный Омир,
Гораций там для шуток и забавы,
Там Апеллес вливает душу в холст,
Там Пракситель одушевляет камень,
Который был нескладен, груб и толст,
А он резцом зажег в нем жизни пламень.
Чтоб приобрести внимание людей,
На трех струнах поет богов Орфей,
А Диоген нагой садится в кадку. -
Не деньги им, так слава дорога,
Но попусту не делать ни шага
Одну и ту ж имеют все повадку.

У мудрецов возьми лишь славу прочь,
Скажи, что их покроет вечна ночь,
Умолкнут все Платоны, Аристоты,
И в школах вмиг затворятся ворота.
Но страсти им движение дают:
Держася их, в храм славы все идут,
Держася их, людей нередко мучат,
Держася их, добру их много учат.
Чтоб заключить в коротких мне словах,
Вот что, мой друг, скажу я о страстях:

Они ведут – науки к совершенству,
Глупца ко злу, философа к блаженству.
Хорош сей мир, хорош; но без страстей
Он кораблю б был равен без снастей.

http://az.lib.ru/k/krylow_i_a/text_0230.shtml